



РАССКАЗ

Она выглядела простовато. Бывали минуты, когда он находил ее вульгарной. Этот румянец во всю щеку, светлые кудряшки, серые, очень обычные глаза, упрямо старавшиеся выдержать его взгляд. С таким лицом она могла быть кем угодно: счетоводом промартели, закройщицей ателье, могла продавать газированную воду или сидеть у почтового окошечка. А ведь она была его женой, женой Александра Александровича Огаревского.

I

Фамилию Огаревских знало не одно поколение. Дед Александра Александровича не раз выступал с историческими исследованиями. Специалисты и сегодня обращались к ним. Он не поднялся до верных выводов, но факты, факты! Умело подобранные, богатейшие, они давали широкие возможности для экономического анализа, без прикрас обнаженно и страшно рисовали русскую деревню девяностых годов.

Потом в печати стало появляться имя второго Огаревского. Это был отец Александра Александровича —



Александр Всеволодович.

Своими страстными статьями он в начале века помог многим освободиться из-под влияния декадентской литературы.

Он одним из первых сказал доброе слово о Маяковском.

Он и сейчас, семидесятипятилетним стариком, читал лекции, выступал в печати, не умел жить без врагов, был насмешлив и беспощаден.

В доме Огаревских в свое время сживал у рояля Рахманинов, читал свои стихи Блок.

Сегодня здесь спорили о Рокуэлле Кенте и Пикассо, театре Кабука и Жане Виларе.

Здесь что ни год появлялись нескладные юнцы, то хмурые, то надменные и дерзкие от застенчивости. Словно в бурную речку, бросались в спор. Каких только крайних мыслей не высказывалось здесь. Беседа неслась стремительно, с непримиримостью и свободой.

Редкий из этих юнцов через несколько лет не появлялся у Огаревских вновь, уже иным, открыв для себя дверь науки или искусства.

В кабинете Александра Всеволодовича пахло тонким ароматом лучших Табаков, сам хозяин не курил, зато на палехском столике стоял курительный прибор к услугам гостей, а в ящиках массивного письменного стола, кроме рукописей, старинных гравюр, папок с французскими политическими карикатурами конца восемнадцатого века, антикварных изданий Радищева и Мюссе,

были и начатые пачки турецких и крымских табаков, табаков с острова Явы.

Стол был завален книгами, новыми, еще пахнувшими типографской краской, приносившими сюда все тревоги времени, ждущими отклика, оценки, страстной поддержки или не менее страстного отрицания.

В особом шкафу хранились пожелтевшие пергаменты, письма от Левитана и Ермоловой, Игоря Грабаря и Луначарского, Бернарда Шоу и Эльзы Триоле, список евангелия из Владимирского монастыря с буквицами, выписанными киноварью и золотом.

Александр Всеволодович любил старинные книги. Ему нравилось от тревог и боев двадцатого века уйти в размеренные строки летописных сказаний. И вдруг почувствовать — и здесь и там одно — сыновнее, до глубины души проникновенное: «О русская земля!»

Тогда двери кабинета закрывались. Профессор садился за работу.

Никто — ни друзья, ни жена, ни сын — не смели нарушить его одиночества. Впрочем, это не было одиночество. Вместе с ним за массивной дверью кабинета, плечом о плечо с ним работали все те, кто в слове, цвете, звуке искали правду, способную переделать этот мир; кто любил и ненавидел, страдал от несовершенства мира и человека и знал, как они могут быть прекрасны.

В эти дни, недели, а иногда и месяцы жизнь дома сосредоточивалась в голубой гостиной.

Это было царство матери Александра Александровича Анны Алексеевны, впитавшей в себя традиции и культуру старинного рода, откуда в былые времена выходили военные и дипломаты, чиновники в генеральских чинах и прекрасные женщины.

И сейчас, совершенно седая, мать оставалась красавицей, а портрет ее с нежным овалом подбородка, чуть удлиненными глазами, внимательными и задумчивыми, таящими под тонким ледком таинственную глубину, восстанавливал ее облик в молодости.

Анна Алексеевна горячо и преданно

любила мужа, во многом пошла на уступки, смолоду научилась принимать его гостей, не интересуясь их родословной, ценить их за то, чем они были сегодня и могли стать завтра. Но даже в конце тридцатых годов она могла прищуриться и спросить: «Это какой Хомутов? Тот, отец которого был женат на княгине Васильчиковой?»

Ее с детства натренированная память хранила тысячи странных и удивительных историй о ревности и любви, карточных проигрышах и дуэлях.

Гостиная была единственной в доме, но называлась голубой потому, что кто-то из поэтов посвятил Анне Алексеевне стихи, начинающиеся строчкой: «В голубой гостиной вашей тихий полумрак». В гостиной и в комнате матери были десятки ненужных и прекрасных безделушек: статуэток саксонского бисквита, многоруких бронзовых божков, точеных фигурок из пожелтевшей слоновой кости и прозрачно-зеленоватого нефрита. Каждая из них имела свою историю, запутанную и полную неожиданностей, иногда горькую, иногда сентиментальную, но всегда занимательную.

Часть из них исчезла в годы блокады, но Анна Алексеевна не вспоминала и не жалела о них. В эти три года для окружающих открылось в ней удивительное мужество, о котором всегда знал Александр Всеволодович. Она, шатаясь, бледная, опухшая, брела за водой, топила печурку в голубой, а теперь закопченной, гостиной и находила силы улыбаться не прекращавшему работать мужу.

Александр Александрович в эти годы был далеко от родителей. Ему не довелось видеть мать, закутанную в теплую шаль, обутую в обрезки валенок, ослабевшую и решительную, не пришлось целовать ей руки, огрубевшей и обретшей какую-то новую силу. И гостиной, насквозь промерзшей в углах, с бахромой снега, наросшей на окнах, тоже не привелось увидеть.

Александр Александрович свиделся со стариками, когда война кончилась, гостиная снова стала голубой, мать снова ходила в платьях черно-серебристых тонов,

отделанных старинными кружевами. Она все так же в сумерки садилась к роялю, играла «Песню без слов» Мендельсона, «Баркароллу» Чайковского, ноктюрны Шопена. И руки ее снова стали выхоленными и благоухающими.

II

В детстве и юности жизнь Александра Александровича делилась на две неравных половины. Меньшую, — спокойную, напряженную, всегда полную скрытой и неосознанной зависти к яркой талантливости отца, полную тревоги, рождавшей смутное неудовольствие собой, — он проводил с отцом, большую — с матерью.

Здесь он сам был полон значимости и достоинства, был связан незримыми нитями с тысячей предметов и людей уже тем, что был Огаревским, сыном Огаревского и урожденной Шатохиной.

Он не стал ни историком, как дед, ни критиком и литературоведом, как отец.

Вероятно, сыграла роль та подсознательная жажда самоутверждения, которая бывает у сыновей знаменитых отцов.

Александр Александрович занялся языками. В двадцать пять лет он уже стал кандидатом филологических наук, защитив диссертацию о словообразовании в романских языках.

Через год разразилась война. Александр, не дожидаясь повестки, явился в военкомат, но на фронт не попал, работал в Министерстве Обороны, где очень пригодилось его знание языков.

А после войны, неожиданно для всех, а больше всего для отца, Александр, только погостив у родных, не остался в Ленинграде, не вернулся и в Москву, а принял кафедру в институте одного из больших областных городов. В Ленинграде и Москве он и сейчас был сыном Огаревского, здесь сам стал Огаревским.

Женился он поздно, тридцати семи лет.

Существовала романтическая версия его женитьбы. Она гласила, что юная девушка самоотверженно ухаживала за Александром во время тяжелой болезни и в благодарность за это он решил открыть

перед ней полную счастья жизнь.

В этой версии кое-что было правдой. Мария была молода, но излишне юной ее нельзя было назвать. Ей уже минуло двадцать три года. Была и болезнь Александра Александровича, хотя и не тяжелая. Дело было в ином, более земном и обычном, во вспышке внезапного влечения почти сорокалетнего человека к молодой, здоровой девушке. Она возникла неожиданно и властно. Ни порядочность, ни воспитание не позволяли Александру Александровичу думать о каких-то случайных отношениях. Он сделал предложение, получил согласие и вступил в брак.

И была третья правда. Правда Марии, для которой он был человеком иного мира, огромной неизвестной ей культуры. Что знала она до встречи с ним? Жила как трава растет. И вот этот человек, особенный, прекрасный, уважаемый всеми, любит ее. Так думала Мария первые недели после свадьбы.

Потом поняла: любви нет.

III

Они женаты уже шесть лет. У них пятилетний сын. В честь прадеда его назвали Всеволодом. Имена Александр и Всеволод постоянно перемежались в семье Огаревских.

Александр Александрович читал лекции в институте, готовил новый перевод «Персидских писем» Монтескье. Он жил, работал и не думал о том, счастлив он или нет, утешая себя простой истиной: у одних людей жизнь складывается лучше, у других хуже, не плакать же об этом.

Становился с годами холодней и педантичней. Предмет, которому он посвятил свою жизнь, требовал напряжения ума и памяти, рационалистических размышлений и логических построений.

Скучал без хорошей музыки. Симфонический оркестр бывал в городе только наездами. Друзей имел, правда, их было немного, зато это были люди, близкие ему по уровню, по складу характера.

Когда у него бывали гости, жена разливала чай, не вмешиваясь в разговоры.

Хорошо, что она уже не называла себя «Марья Васильевна», а звалась

Марией Васильевной, отучилась взалоб смеяться и душиться недорогим одеколоном, запах которого заползал во все углы и стойко держался там, напоминая чем-то ядовито-зеленое монпансье местного производства.

И южный говор ее постепенно стал меньше заметен. Первые месяцы после женитьбы Александра Александровича так раздражало это «г» с легким придыханием, смягченные окончания глаголов «смотреть», «читать». Раздражала ее растерянность, неумение найти нужные слова в разговоре. Он невольно хмурился, и она, смешавшись, умолкала.

Сейчас она умела быть в доме и нужной и незаметной. Александру Александровичу вообще нечего было бы жаловаться, если бы иногда в характере Марии не проявлялось странное упорство.

Не возражая, не объясняя своих поступков, она вдруг делала по-своему.

Бывало, что в душе Александра Александровича вспыхивало острое недовольство. Он пытался поговорить с ней, требовал, подчас возмущался, а она молчала, не поднимая глаз, страдальчески опустив углы губ, и не шла ни на какие уступки.

Александру Александровичу хотелось, чтобы Сева ходил в изящном бархатном костюмчике с пышным белым бантом, с длинными локонами а ля маленький лорд Фаунтлерой. Эти локоны так шли бы к тонкому изящному личику сына. Хотелось, чтобы сына окружала утонченная обстановка.

Но сын бегал в сандалиях на босу ногу, синих сатиновых трусиках, коротко стриженный, — Такая стрижка не идет к складу его лица, пойми ты это, — сердился он, как обычно при споре с женой, смотря мимо нее, чтобы меньше раздражало выражение ее лица, одновременно и покорное и «непробиваемое», как определял он.

— Оно изменится, — уверенно, хотя и тихо, возражала Мария.

И действительно, с годами лицо мальчика изменилось, округлилось, посмуглело, на нем пробился крутой румянец, но вместе с тем ушла печать той

утонченности, которую так ценил Александр Александрович.

Окружающие думали, что Александр Александрович стоит за спартанское воспитание сына, и даже считали, что ему пришлось убеждать жену: уж у нее-то не могло быть таких правильных и строгих взглядов на воспитание, матери обычно балуют ребят.

Постепенно он сам уверился, что всегда хотел видеть сына крепким, ловким, полным энергии. С тех пор он уже не возмущался, что сын приходит со двора с грязными коленками, а подчас и с синяками.

Тем более, что появились часы, когда сын был безраздельно с ним. Это были часы занятий языками и музыкой. Занятия языками Сева просто терпел, а скрипку любил и любил слушать, как играет отец, хотя подчас и пускался в ненужные, по мнению Александра Александровича, фантазии.

Слушая «Турецкий марш» Моцарта, Сева вдруг заявлял отцу, что ноты прыгают, словно дождевые человечки.

— Те самые, папа, которые танцуют на лужах, когда идет сильный дождь. Мы с мамой видели их...

Отец хмурился и говорил ему о законах построения музыкального произведения, о богатстве технических средств у Моцарта. Это было тоже по-своему интересно. Сева умолкал. Внимательно слушал.

Огромное упорство открылось в Марии в те дни, когда Александр Александрович просил ее оставить работу. Мария окончила агрономический техникум, даже не институт, выращивала что-то там в каких-то теплицах. Вероятно, отдаваясь она большой, общественно-интересной деятельности, где человек полно и многогранно проявляет себя, он бы не возражал против ее работы, но сейчас ее нежелание расстаться со своими теплицами, где ее, вероятно, мог заменить любой, выглядело в его глазах просто блажью.

Во всяком случае она предпочла свои теплицы заботам о муже, и это оскорбило Александра Александровича,

хотя он был достаточно горд и сумел скрыть свою обиду, но работа жены перестала существовать для него. Холодным и несколько брезгливым молчанием в минуты, когда она пробовала заговорить о своих делах, он дал понять ей, что эти дела ничуть его не интересуют.

Завтрак Александру Александровичу готовила и встречала его возвращение из института накрытым столом пожилая, спокойная и аккуратная женщина, которая вела у них хозяйство.

Мария приходила позже, обедала отдельно. В шесть шла в детский сад за сыном. Вечером, если не было гостей, Александр Александрович час-полтора занимался с Севой, а потом, оставив его с матерью, закрывался в своей комнате, работал долго за полночь.

IV

Месяц в году они все трое проводили у моря: Александр Александрович в санатории, а жена и сын неподалеку, на квартире у прижимистой, но чистенькой старушки.

Напоив сына молоком, Мария спозаранок приводила мальчика к санаторию, сидела с книгой в дальней аллее, ожидая, когда появится Александр Александрович. Чаще всего он шел с сыном гулять по саду, а она оставалась ждать их возвращения на той же самой скамье.

Александр Александрович, уходя, бросал взгляд на ее книгу. Обычно на ней было имя давно известного ему автора: Драйзера, Тагора, Куприна. Это раздражало: эти книги она обязана была прочесть давным-давно, еще в школьные годы, а сейчас читать Дрюона, Бёлля, Пратолини.

Но он никогда не давал ей советов, что читать, да и не заговаривал с ней о книгах. С какой стати он будет выслушивать «интересно», «нравится», произнесенные куда-то в сторону. И не спрашивая, он был уверен, что Мария очень внимательно следит за сюжетом, не обращая внимания на остальное, из чего для него подчас складывался весь аромат книги.

После прогулки по саду все втроем

шли к морю.

Александр Александрович уплывал далеко от берега, к буйкам, а она сидела на пляже и смотрела, как играет сын на песке, отыскивает обломки круглых раковин, цветные камешки, или барахталась с ним в прибрежной теплой воде, а когда он засыпал тут же на берегу, она, притенив его от солнца, сидела около, следя за игрой волн, за белой пеной, слушала неумолчный шум моря.

Потом Александр Александрович шел обедать и отдыхать. Обедали и они с сыном у хозяйки, и тогда, в самую жару, оставив уснувшего сына под присмотром старушки, она одна шла к морю.

В эти часы пляж санатория был безлюден. Быстро раздевшись, она легко и стремительно уплывала в сверкающий простор, плыла к тем же самым буйкам, к которым утром заплывал Александр Александрович. И там, вдали от берега, пела. Пела в полный голос. Раскинув руки, отдыхала, лежа на спине. Солнечные лучи отвесно падали в море, все вокруг ослепительно блистало. Прижмутив глаза, покачивалась на волнах, ныряла в зеленоватую прохладную бездну и вновь выплывала наверх к солнцу и небу.

К моменту пробуждения Александра Александровича она с Севой снова сидела в кипарисовой хмурой аллее. И снова шли на пляж. И снова уплывал в море Александр Александрович, а она у берега учила Севу плавать: «Ты же большой! Ты смелый! Ну!»

На пляже вытягивались длинные тени, Александр Александрович, накинув на плечи полотенце, играл с кем-нибудь в шахматы, а они с сыном сидели на топчане, и она рассказывала:

— Звали его Суховой. Огнем дышал, зноем. Дохнет — и в степи побуреет трава. Дохнет — и ложатся на землю несозревшие хлеба, высыхают звонкие ручьи, А Суховой носится над полями, над степью, машет огромными жаркими крыльями: «Все спало! Все высушу! Все уничтожу!»

— И никто, никто не мог его победить? — перебивал Сева, сам готовый ринуться на злодея, только бы легко дышалось хлебам и травам.

— Слушай дальше, — негромко говорила она, радуясь тому, что глазенки у сына блестят, что рука, негодуя, сжимается в кулак.

Сказка обрывалась, когда подходил отец.

Они провожали его в санаторий, шли домой.

Когда Сева засыпал, она писала письма. Писем было много: Наде и Стеше, подругам по работе; главному агроному Зеленстроя, поручившему привезти семена; директору шестой школы, где юннаты взялись сами построить теплицу.

Засыпала поздно. В открытое окно лился лунный свет, слышался размеренный гул моря. Ветер качал тамариск за окном, скрипел гравий под чьими-то шагами, а в глубине комнаты слышалось ровное дыхание Севы.

Проходил месяц, и они с сыном возвращались домой, Александр Александрович уезжал в Ленинград.

Она знала, что Огаревские давно хотят видеть внука. У них дача в Сестрорецке. Там тоже есть море, яркие северные закаты, белые ночи. Но Александр Александрович говорил, что сыну нужен юг, только юг, и она верила этому.

Сам Огаревский знал другое: он не может представить себе Марию с ее простенькими цветастыми платьями в голубой гостиной матери, среди изящных безделушек, назначения половины из которых Мария просто не будет знать.

Он не выдержит сострадательного взгляда матери, беглой, чуть удивленной улыбки, легкого сочувственного пожатия руки. Он не выдержит откровенного удивления и укора отца, которому Мария будет чуждой раз и навсегда. Уж если в беседе с ним отец насмешливо вскидывает брови, безжалостно подчеркивает случайную обмолвку или неточность, то какой же уничтожающей критике подвергнется Мария.

Планы на это лето были обычными, но старики решительно потребовали приезда всей семьи в Ленинград.

Они хотят видеть внука и невестку. Александр Всеволодович сам будет ее

гидом. Он походит с ней по залам Эрмитажа, по набережной Невы, покажет ей мрачные казематы Петропавловской крепости, перечитает вместе с нею каменную поэму Исаакия, в который раз склонит голову на Марсовом поле.

В задумчивый серый денек побывают они в Пушкино, побродят по тенистым аллеям, по бесчисленным мостикам, перекинутым через каналы, полюбуются, как небо и деревья отражаются в зеленоватой воде...

V

Сидя у окна вагона, Александр Александрович предлагал Севе:

— Montre-moi la maison.¹

— Void la maison,² — бойко отвечал Сева, кивая на мелькнувшую у полотна кирпичную будку путевого обходчика, и даже по своей инициативе уточнял: — tres petite la maison, tres jolie...³

Он скандировал ответ, словно вторил перестуку колес.

— Папа, а кто там живет?

Но отцу не хотелось отвлекаться от урока.

— Montre-moi l'arbre,⁴ — снова требовал он.

— Voici l'arbre, — указывал малыш. — Encore, encore...⁵

А деревья бежали и бежали хороводом вдоль полотна.

Отец с гордостью глядел на Севу, старики останутся довольны внуком. Зато о жене думать не хотелось, а она сидела тут же, не подо-

¹Покажи дом (французск.).

²Вот дом.

³Очень маленький дом, очень красивый.

⁴Покажи дерево.

⁵Вот дерево... Еще, еще...

зревая о той тяжести, что лежала на душе Александра Александровича.

Он бросил на Марию неприязненный взгляд.

В руках у нее томик стихов «Сильва Капутикян», — прочел он.

— Ты стала любить стихи?

— Стала, — наклонила она голову. Он не читал Капутикян.

— Про любовь, конечно? — небрежно бросил он.

— И про любовь, — по-прежнему спокойно ответила она и вышла из купе.

Сева выскользнул за ней.

Когда через час выпавшийся Александр Александрович встал, дверь купе была полуоткрыта. Сева с матерью все еще стояли у окна.

— Это у елочек детский сад. Смотри, высыпала малышня на пригорок. В догоняшки играют, — говорила Мария сыну.

— «Догоняшки... Елочный детский сад, березовые ясли», — брезгливо подумал Александр Александрович.

— Мама, а ты расскажи, как зайчик с елочкой ростом мерился, — попросил Сева.

— Да я же тебе рассказывала.

— А ты еще расскажи.

— Ну, слушай...

Александр Александрович закурил, прикрыв глаза рукой, и вдруг чуть не вскрикнул. Кажется, есть выход. Есть!

Вечером, уложив сына, Мария снова вышла в коридор. Держась за поручни, она стояла у окна и смотрела на никогда не виденный ею северный, полный тревоги и силы закат, красным заревом упавший в зеркальные мочажины. Силуэты елей становились в багровых отсветах все темнее и темнее.

Она почувствовала, что за спиной у нее стоит Александр Александрович.

«А ведь на свете возможно все», — внезапно подумалось ей.

Казалось, все вокруг живет своей особой жизнью, манит, обещает что-то новое. Казалось, и красок других не осталось в мире, только черная и все оттенки красной. Странно тревожили сердце и эти лохматые, старые-старые ели,

и угловатый черный силуэт ворона на вершине одной. Взмахнул вещей крыльями и снова сложил их. И мрачно вокруг. И необычно. И торжественно как-то.

Александр Александрович стоял и молчал.

«Все может быть», — напряженно думала она, словно силой своей мысли хотела вызвать из небытия какое-то чудо, всегда с детских лет неожиданное и ожидаемое.

Она даже глаза прикрыла на секунду в ожидании этого чуда. Вдруг сейчас раздастся слово — и изменится все вокруг. И навеки дорогим станет это багровое пламя, упавшее к подножию корявых могучих елей, эти белые стволы березок, словно во сне, проступившие слева от просеки и пропавшие едали.

Слово! Одно слово. И все в мире станет иным. Слово! Оно может все.

— Мария, — сказал Александр Александрович.

— Что? — не оглядываясь, тихо спросила она.

Она чуть подалась вперед, коснувшись лбом оконного стекла.

Он заговорил о Ленинграде. Начал рассказывать о реставрации Петропавловского собора, об архитектурном ансамбле на улице зодчего Росси. Сколько ей надо увидеть! Стоит ли жить на даче, когда для осмотра Ленинграда и месяца мало.

Пальцы Марии все крепче сжимали поручень.

Он заговорил о стариках Огаревских. Ей нелегко будет сойтись с ними. Она только выгадает, если остановится в гостинице, не поехав к скучным и неинтересным для нее старикам, отдохнет от него и Севы.

По-прежнему не оборачиваясь, она спросила:

— Значит, ты не хочешь, чтобы они познакомились со мной?

Он начал уверять, что не так понят ею. Просто ей надо хорошо узнать Ленинград. А старики... У них особый быт, особый уклад. Они будут совершенно чужды ей, смогут ненароком обидеть...

— Я остановлюсь в гостинице, —

перебила она.

Озерки и промоины, окна на болотцах, заросших осокой, уже погасли. Но после заката сумерки не стали плотнее. В этом непривычном для нее бледном, призрачном свете все жило своей неизведанной жизнью, волновало и томило ее.

— Если ты обиделась... — помолчав, начал он.

— Я остановлюсь в гостинице, — негромко, но твердо повторила она.

VI

Уже пятый день Мария жила, точнее ночевала в гостинице, потому что и утро, и день, и вечер она проводила на улицах Ленинграда, в музеях, театрах. Нашлись и дела, а там, где они есть, появляются и знакомые.

И все-таки было горько. Скучала без Севки. Не могла притушить обиду на мужа.

Не захотел. Шесть лет вместе — и стыдится ее. Стыдится. Живут рядом. Каждый своим. Чем были для него эти шесть лет? Он напечатал несколько статей, прочел сотни лекций, присутствовал на шести выпускных актах в институте. Еще шесть лет пройдут. И снова будут статьи, лекции, выпускные акты.

А для нее? Чем были для нее эти шесть лет? Цепью непрерывных открытий. Каждый Севкин день, и каждая новая книга, и каждый новый человек.

В шифоньере у него висят галстуки: слева белый, справа черный, а между ними остальные — от светлого к темному... Почему ей вспомнились галстуки? Может быть, потому, что не раз ей хотелось одним взмахом руки смешать, перепутать цвета.

Галстуки? Какая чепуха! Пусть висят себе, как хотят. Беда в другом. Для него она сама все так же где-то слева, ей отведено определенное место, раз навсегда сделаны измерения, найдено отношение к ней. Он просто не знает, что на свете бывает чудо, творимое временем, людьми, любовью.

«Человек должен... ребенок должен... жена должна», — в каком размеренном и скучном мире живет ее муж, Александр Александрович Огаревский. И как страшно, что она поняла это.

А стариков, которые пишут ласковые письма, а сами сделали Александра таким, она ненавидит. Она не хочет, чтобы Сева произвел на них «отличное впечатление». Пусть, глядя на него, они поймут, что Сева растет и вырастет другим, не похожим на отца.

Она сама не хочет видеть этих стариков.

Так и останется для нее Александр Всеволодович портретом на стене. И пусть там, на портрете умные живые глаза, чуть тронутые хорошей улыбкой губы, пусть от всего облика старого профессора веет благородством. Она прекрасно знает, что за обаятельной внешностью может стоять неуважение к человеку...

Она позвонила, попросила принести завтрак в номер.

Когда раздался стук в дверь, Мария ожидала, что официантка Валя вкатит столик с завтраком...

Но через порог шагнула не Валя. Шагнул высокий седой старик.

Она встала.

— Александр Всеволодович? — глуховато спросила она.

Он протянул руку.

— Дайте взглянуть на вас. Голубовато-стальные глаза старика как-то остро поблескивали, пристально смотрели на нее. За этим мерцающим холодноватым блеском ей почудилась не то насмешка, не то открытая неприязнь.

— Устал, Разрешите сесть? — с усмешкой осведомился старик.

— Пожалуйста, — слегка вспыхнув, ответила она, сердясь на себя за то, что не догадалась предложить ему сесть, а еще больше сердясь на то, что принимает свою оплошность слишком близко к сердцу.

— Пришел пораньше, чтобы застать вас. Может быть, пойдём в кафе, позавтракаем? — предложил Огаревский.

— Завтрак уже заказан. — Мария подошла к телефону: — Я забыла, что завтрак нужен на двоих, — сказала она, набрав номер буфета.

Она села у стола и мучительно раздумывала, о чем заговорить. Наконец, ей вспомнилась спасительная формула, с

какой Александр обращался к знакомым:

— Как здоровье вашей супруги?

— Анна Алексеевна чувствует себя превосходно. Благодарю вас, — поклонился Огаревский.

Он сидел, слегка прищурившись; сухие длинные пальцы выстукивали какой-то неуверенный, сбивчивый и злой мотив на ручке кресла.

Разговор не клеился.

Постучавшись, вошла Валя с завтраком.

— Ну как, Валя, не получали больше писем?— спросила Мария, радуясь, что в комнате есть третий человек.

— Получила. — Валя достала из кармашка фартука смятый конверт. Прочтите, Марья Васильевна, — попросила она. — Завтра забегу, еще раз посоветуюсь.

— А я, Валя, другого совета не дам.

— Так я, может, и хочу до конца убедиться.— Валя скрылась за дверью.

— Друзей завели? — вскользь спросил Огаревский.

— Да, — коротко ответила она, ясно, как ей казалось, прочтя подтекст его тона и беглой улыбки, сопровождавшей слова.

— Это что же, от жениха письмо?

— От комсомольцев колхоза. Комсоргом она была на ферме, да вот бросила все...

— Вероятно, советуете вернуться?

— По-моему, жизнь нельзя начинать с измены.

— Почти лозунг, — сказал Огаревский, сдвинув брови. Он залпом выпил чай, отставил стакан. — Нет, сказали-то вы, по существу, правильно,— усмехнулся он.— Только уж, если стоять на принципиальных высотах, то можно ли заранее не уважать людей.

— О чем вы? — не поняла Мария.

— Не понимаете? Или не хотите понять? В обоих случаях — жаль!

Мария почувствовала в душе то состояние внутренней обособленности, которое так раздражало мужа; она в упор взглянула на профессора.

Худошавое, матово-бледное лицо старика было полно какой-то скрытой горечи. В нем не было красок, казалось, оно

выточено из слоновой кости, впечатление усугублялось почти полным отсутствием положенных по возрасту морщинок. «Видно, горя хлебнуть не довелось»,— подумала Мария, и мысль эта, словно печатью, скрепила невысказанную, но все нарастающую неприязнь.

— И все-таки я хочу поговорить с вами, — словно прочитав ее мысли, сказал Огаревский.

О чем он хочет говорить? Вероятно, Мария знает. Но пусть только он произнесет эту приготовленную им фразу, которую он держит, как камень, за пазухой. Пусть только он скажет: «Вы не пара моему сыну». — «Не пара!— согласится она. — Ваш сын весной не заметил, когда зацвели и когда отцвели каштаны. И пусть он знает все плюсквамперфекты. И пусть он даже любит музыку, а вот, какое чудо заключено в луковичке тюльпана, — не знает. И как разбудить в ней жизнь — тоже не знает. И не знает, сколько в Севкиной душе доверия к людям и ненависти ко всякому злу».

Поняв, что у нее есть что ответить профессору, почувствовав, что на этот раз не смешается, выскажется до конца, с тревогой, но без страха глядя в лицо старика, она сказала:

— Пожалуйста, я слушаю вас.

— Сын сказал мне, что у вас нет отпуска и вы не могли приехать с ним...

Вот что! Он так сказал. А ведь он не любит неправды. Но обида, всколыхнувшая все ее существо, не вырвалась наружу. Это отец и мать Александра, близкие ему и чужие ей люди. Пусть он сам решает, что и как говорить им.

— А нам было жаль, — продолжал Огаревский. — С каждым часом мы все лучше узнавали вас. — Не понимаю, — невольно вырвалось у нее. — Меня? Как?

— Мы увидели вас в Севе... Удивительно мягко прозвучало это «Сева», и в это мгновение она поняла: ее сын — внук «того старика. Любимый, единственный. И, вероятно, Сева тоже успел полюбить его. Есть ее отношения с сыном, есть отношения сына с отцом. И вот возник третий круг. Неужели снова отдельный, закрытый для нее?

Лицо Огаревского смягчилось, словно освещенное изнутри.

— Он рассказывал, как заяц все лето жировал, некогда было и к подружке-елочке заглянуть. А зимой обрадовался, что шубка новая, белая. «Дай, думает, забегу похвастаюсь, кстати, и ростом померимся. Она, поди, все такая же коротышка, а я теперь вон какой сильный да ловкий. Всем зайцам заяц!» Прибежал на лесную опушку, глядь-поглядь — нету знакомой малютки-елочки. Вместо нее другая стоит. Ладная, пушистая, верхушкой к небу тянется. На пенек вскочить, уши поднять — и то не вровень будешь! Куда там с ней зайчишке ростом мериться. Не хвасталась и выросла, зеленая, стройная, всем на радость».

Огаревский рассказывал неторопливо, и она узнавала интонации Севки и знала, что это ее интонации.

— Спросил я: «Кто тебе эту сказку рассказывал?» — «Мама», — Александр Всеволодович умолк было, но вдруг усмехнулся и продолжал: «Шишку в руки возьмет, смеется: «Смотри, дед, ежик без ножек». Я за лейку — цветы поливать, не отстаю: «Мама говорит, если человек работает, он большой вырастает, сильный! И еще, дедушка, хлебные корки надо есть, мама говорит».

Севка, Севка! Друг ты мамин! Как захотелось увидеть его, делового, озабоченного, с лейкой в руках. Увидеть сейчас же! Немедленно!

— Вот так и шло. Смотрим на Севу, а видим и Севу и маму. Жалеем, что приехать не смогла, а она в гостинице живет, видеть стариков не захотела. — Огаревский говорил все резко.

На секунду только встретился взгляд Марии с пристальным взглядом старика, торопливо, чтобы не понял, что творится у нее в душе, метнулся в сторону.

Но Александр Всеволодович уже заподозрил неладное, встал, шагнул к ней, положил руки на плечи, слегка притянул к себе, не давая еще раз уклониться взгляду.

— Вот оно что, — дрогнувшим голосом сказал он, — твои глаза врать не умеют. И обиду спрятать не смогли. Значит, не ты? Александр?

Она молчала.

Он поцеловал ее в лоб.

— Ну, здравствуй, по-настоящему. Тебя как отец звал?

— Не помню.

— А мать?

— Я без них росла. В детдоме звали Машей.

— Значит, Маша! Хорошо! По-русски! Терпеть не могу вывертов.

Отчуждение, владевшее ею, отступало все дальше, сменялось странным, радостным смятением. Этого человека она могла бы звать отцом. Он отец ее мужа. Она всегда, всю жизнь с детских лет тосковала о семье. О большой, хорошей, своей семье...

— Вот что, Маша, — сказал Александр Всеволодович, — сегодня мы с тобой побродим по Ленинграду, а вечером поедем в Сестрорецк.

В Сестрорецк! Против желания Александра Александровича! Нежданной, нежеланной!

— Я не могу, — отказалась она. Он понял.

— Я прошу. Маша. Я очень прошу. Анна Алексеевна ждет. Сева соскучился. Я обещал им привезти тебя.

— А Александр? — вырвалось у нее.

— Александр с приятелем уехал на Рижское взморье дня на четыре.

— И через три дня вы отпустите меня?

— Обещаю, если ты захочешь. А сейчас, если ты не была, пойдем с тобой на Мойку...

— К Пушкину?

— К Пушкину? — переспросил он. — Да! Ты хорошо сказала, Маша. Именно к Пушкину. Только эту Валю повидай. Наверное, ей разговор с тобой очень нужен.

Когда Маша вернулась, Огаревский рассматривал бумаги, лежавшие на письменном столе.

— Вот в чем я профан. Чертежи? Твои?

— А-а, — протянула Мария, сминая бумагу, — это так, черновики. Чертеж теплицы.

— Теплицы?

— Тут для школы одной. Меня попросили, — смутилась она. — Юннаты у них в переписке с моей подшефной школой, и тоже, как наши, затеяли строить теплицу.

VII

Вечерело. Александр Александрович шел со станции петлястой выбитой тропкой между березками, приближаясь к отцовской даче. В руках нес несколько гвоздик, мать любила, когда ей привозили цветы, хотя и в саду их было достаточно.

Еще издали он увидел, что семья пьет чай на веранде. На столе стоял самовар. Огаревские по вечерам всегда пили чай из самовара. И Александр Всеволодович огорчился, что самовар современный электрический, считая, что самовар хорош, когда его на даче вскипятят шишками, когда шумит он, пыхтя и отдуваясь, и за столом чуть пахнет дымком и смолкой.

Отец, смеясь, рассказывал что-то, оживленный, словно помолодевший. Мать сидела в своей любимой позе, откинув назад свою седую голову, чуть в стороне от стола на плетеной качалке. Сева с красным яблоком в руках примостился на крыльчке.

На веранде был и четвертый человек, молодая женщина. Лица ее Александр Александрович не видел: она сидела спиной к нему и, приближаясь к даче, гадал, кто бы это мог приехать. Гости были не в диковинку, но что-то очень домашнее, знакомое в облике этой женщины, в светлом легком платье, спокойно, по-хозяйски, расположившейся у самовара.

Он подходил все ближе, и странная тревога овладела им; если бы он не знал, как упряма Мария в своих решениях, он бы подумал, что это именно она сидит за столом.

— Нет, это именно она!

Против его воли! Сейчас ему придется испить горькую чашу: видеть невысказанное сожаление на лице матери, почувствовать на себе всю силу вежливой, убийственной иронии отца.

Несмотря на вечернюю прохладу,

ему стало душно, рука сама потянулась к воротнику рубашки.

Первым заметил его Сева.

— Папа! — бросился он навстречу ему.

Мария оглянулась. Слегка побледнев от неожиданности — Александра в доме ждали только назавтра к вечеру, — она смотрела, как муж с сыном поднимаются на крыльцо.

Анна Алексеевна обняла сына. Александр поцеловал у матери руку, подал ей цветы. Отделив несколько гвоздик, она вернула ему остальные. Неуверенно повертев их в руках, он положил цветы на край стола, шагнул к отцу. Взяв его за плечи, профессор повернул его лицом к Марии.

— Не ожидал встретить тебя здесь, — сказал Александр, тон его был очень неопределенным, за ним могло стоять что угодно: и вежливое удивление, и скрытый упрек, и простое безразличие,

— Я сам ездил за Машей, — сдвинув брови, сказал отец.

Сева взял со стола цветы.

— Это маме? — настойчиво и тревожно спросил он.

— Маме? — Александр Александрович или не понял или не захотел понять. — Вероятно, бабушка хочет поставить эти гвоздики в своей комнате.

— Можно и так, — секунду помедлив, согласилась Анна Алексеевна, отняв от лица цветы, протянула их внуку. — Возьми и эти, Сева.

Мальчик неуверенно топтался на месте.

— Сева, — спокойно сказала Мария, — поставь бабушкины гвоздики в вазу.

Сева кивнул головой, пошел к двери в комнату. На пороге внезапно остановился, повернулся. Глазенки его остро блеснули, напомнив взгляд деда.

— Ты, мама, ведь больше розы любишь?

Да? — сказал он слегка дрогнувшим голосом.

Не ожидая ответа, он скрылся в доме. Александр Всеволодович быстро спустился с террасы в сад.

— Хороший и умный у тебя сын, Александр,— сказала Анна Алексеевна, снова откинувшись на качалке и глядя в небо.

Сева вернулся на веранду одновременно с дедом. Блестящими, напряженными глазами он смотрел на розы в руках старика.

— По-моему, ты эти больше всего любишь, Маша,— сказал Александр Всеволодович, подавая ей розы.

Четыре, они составили целый букет. Темная, лакированная зелень оттеняла и подчеркивала всю прелесть нежных и радостных цветов. Кремовые лепестки где-то на изгибе начинали розоветь, а заревые края их были словно опалены пламенем.

— Маша, а почему ты именно эти любишь, не чайные с их ароматом, не алые, воспетые поэтами, а эти, «Славу мира»?— спросил Александр Всеволодович.

Александр наклонил голову, досадливо ожидая ответа.

— Не знаю,— услышал он неуверенный голос жены.— Вероятно, потому, что они особенно живые. Этот переход красок.словно цветок в движении, меняется на глазах. Что-то зарождается в нем. Крепнет. Торжествует.

Александр был не в таком состоянии, чтобы вслушиваться в слова жены, раздражал ее робкий, словно извиняющийся тон. И зачем только она пускается в длинные рассуждения.

— Я люблю, Маша, тебя слушать,— сказал Александр Всеволодович.— Ты удивительно умеешь проникать в душу вещей.

Александр поднял голову, ожидая увидеть насмешку в глазах отца, но отец задумчиво и ласково смотрел на Марию, его рука обнимала прижавшегося к нему Севу.

— Ну, чего там!— смутилась Мария.

Александр Александрович нахмурился: вот она вся в этом грубом и неуклюжем: «Ну, чего там».

— Маша, а чаю Александру,— напомнила мать.

— Давайте-ка все, «вторым заходом», как мой знакомый летчик

говорит,— усмехнулся Александр Всеволодович, придвигаясь к столу и усадив рядом внука.

— Увлеклись мы цветами, а Александру, наверное, есть о чем рассказать.— Анна Алексеевна, шелестя тяжелым шелком халата, подошла к столу и села между мужем и сыном. — В Сигулде был?— поинтересовалась она.

Мария наливала чай, придвигала печенье, лимон, сахар.

Все становилось на привычные места. Александр Александрович будет рассказывать, потом завяжется беседа, может быть, вспыхнет спор. Но властный, остроблещущий взгляд старика Огаревского то и дело останавливался на ней, притягивая к себе, словно спрашивал: «Почему ты молчишь? Тебе есть что сказать».

Громко звякнув, упала ложечка. Это утомленный Сева задремал под рассказы отца.

Мария встала.

— Сева, прощайся — и спать!

Сонный мальчик, старательно тараща глазенки и всем своим видом показывая, что ему ничуть не хочется спать, обошел всех. Обнимая деда, спросил:

— Деда, а мы завтра пойдем за грибами?

— Обязательно.

— А с кем?— щекоча дыханием, в самое ухо шепнул Сева.

— С мамой и папой, — громко ответил старик.

— Вместе? Все?— словно требуя подтверждения, переспросил мальчик, крепче обнимая деда.

— Вместе...

Поднялись в спальню. Мария шире распахнула окно. Раздался дальний гудок паровоза.

Сева, сидя на кровати, уже стянул с себя рубашонку, держа ее на коленях, прислушался.

— Мама, а я вырасту, мы с тобой поедем туда, где папа был. Будем ехать долго-долго. А потом будет замок. И башня. Пять этажей. И оттуда сквозь эти дырки, через какие раньше солдаты стреляли...

— Через амбразуры...

— Вот-вот. Ам-бра-зуры... Из них увидим речку и лес и подумаем, будто белые едут...

— Не белые. Крестonosцы.

— Все равно белые, раз они против наших. Фашисты, да?

— Спи, Сева!

— А мы их с башни из минометов. Да, мама?

— Спи, сынок!

Она отошла к окну. Хорошо бы сейчас обнять Севу, спеть песенку. Ей, детство которой прошло в дни войны, ближе всего были песни тех лет. Они ходили для Севы в колыбельных. Засыпал он и под мотив «Друзья однополчане» и под «Осенний сон». Вот и сейчас спеть бы. Только не нужно это. Сыну скоро шесть. Сын большой. Пусть сам засыпает. Пусть воином растет. Нет! Не для войны. Не нужно войны. Но мало ли в жизни боев, для которых надо быть воином.

Перед окном колыхались темные ветви. Закинув руки за голову, она смотрела в сад, туда, где вдали проступали белые стволы берез.

— Сядем здесь,— услышала она голос Александра Всеволодовича.

Вспыхнувшая в полумгле папироса осветила лицо Александра, его четкий красивый профиль, резкую морщину, словно обрезавшую угол сухих розовых губ, красноватый отсвет упал на длинные музыкальные пальцы с холеными ногтями.

Прислонившись к косяку окна, Мария стояла задумавшись. Впервые, оказавшись в чужом месте, она почувствовала себя дома, спокойно, радостно.

Там, в Ленинграде, к концу первого дня старик Огаревский, дед ее сына, стал для нее близким и родным человеком.

Она слушала его тихую речь, когда они по парадной лестнице поднимались в квартиру Пушкина. Он читал ей стихи, рассказывал о людях, окружавших поэта, о его тревогах, счастье и горе, приводил на память строчки из писем императрицы, сочувствовавшей Дантесу, только Жоржу Дантесу и слегка Натали. В кабинете Огаревский взял ее за руку. «Помолчим»,

— сказал он. И она поняла, иначе нельзя. Несколько минут стояли они, глядя на низкие книжные шкафы, на кожаные переплеты старинных книг, на письменный стол.

И вдруг ей почудилось, что времена сместились, что сейчас, сию минуту сюда могут внести Пушкина после дуэли, положить на этот диван. Потом он попросит: «Поднимите меня выше»,— а потом, бездыханный, будет лежать здесь, а волны скорбного людского моря будут биться вокруг дома...

Сидели в Летнем саду. Играли дети. В зелени аллеи белели статуи. Каждый камень рождал рассказ профессора. Мария слушала. Удивительно легко и просто было ей с Александром Всеволодовичем, его знания радовали, но не подавляли, она находила слова для ответа ему, и не было на сердце ничего, что хотелось бы утаить.

На дачу приехали ночью. И здесь одна неожиданная радость. Навстречу ей легкими шагами идет седая женщина, обнимает ее.

— Маша, девочка, да как же это могло случиться!

И все-таки завтра она уехала бы в Ленинград. Александра Александровича ждали завтра, а он приехал сегодня. Но неужели с его приездом ей стало труднее дышать?

Тихая беседа, что вели отец с сыном под окном, не мешала ей думать. Внезапно голоса стали громче.

«Я хочу знать, кто ты?» — резко упал в темноту вопрос.

«Я хочу знать, кто ты?» — эхом отозвалось в ее душе.

— Твой сын, Александр Огаревский. «Твой муж, Александр Огаревский»...

— Самый легкий ответ. Имя дается рождением.

— Чего ты хочешь, отец? Чем ты взволнован? Не пойму.

— Чем? Я прямо скажу. Не пара вы. Пойми, не пара.

Три дня назад она была готова услышать эти слова, она ждала их. Но сейчас... Только сегодня старик сорвал для нее розы... Бежать! Немедленно бежать отсюда.

— Ты ей не пара! Пойми ты — голос профессора все креп: — У нее живая душа, а ты эту душу оскорбляешь ежедневно, ежечасно. Ты думал об этом? Думал, что скоро между вами, как судья, встанет сын. Какую тяжесть ты хочешь взвалить на плечи ребенка — стать судьей между отцом и матерью. Такая тяжесть может смять, раздавить. Весь мир в глазах его опоганить. Ты видел его глаза, когда он о розах говорил? Ему нет шести... Ему будет и семь и двенадцать...

Всей душой рванулась она к сыну. Сева! Ты спишь, мальчик. А там за окном бьется за тебя, за твое счастье большой и добрый человек.

Александр говорил тихо и долго, слов его Мария не слышала. Она не могла уйти, не слушать. Здесь, сейчас, решалось огромное для нее. Как бы хотела она услышать его слова. Ведь все... Все возможно на свете.

— Я вижу выход только в одном, — снова раздался голос профессора.

Неясно прозвучали слова Александра. Что он сказал? Что сам знает выход? Или спросил, где он? В чем?

— Вам надо расстаться, — четко и твердо произнес старик.

— Расстаться?
Это спросил Александр.
«Спросил? Почему спросил? Согласен ли или нет?»

— Расстаться! — еще тверже повторил отец. — Если только...

Что «если»? Что? Задает ли сейчас этот вопрос Александр, хочет ли слышать ответ?

— Если она не поймет, что сильнее тебя, что может разбудить в тебе живую душу. Если ее любовь воскреснет. Если она поймет, что любовь эта должна воскреснуть ради сына...

Ошеломленная, потрясенная словами старика, стояла она. Голоса опять стали тише. Только вспыхивал и вспыхивал огонек в серой полумгле.

Вот раздались шаги. На дорожке показались два человека, одного роста, сложения. Только одна голова была серебряной, другая темноволосой. Показались и скрылись в глубине сада.

Прижав руки к груди. Мэрия смотрела в неверную и странную полумглу. Что за ней? Ночь или рассвет?

В глубине комнаты спал Сева.
Через несколько часов наступит утро.

Сева откроет глаза...